

В дурном обществе — эпизод 20 из 25

Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула нехорошо воровать осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

Откуда это?

Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

А, все равно... Ее уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с дурным обществом, но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде принципа: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

Я есмь Тыбурций (лат.).2

Друг (лат.).3

Под условием (лат.).4

Господин наставник (лат.).

Близились осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза

потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал с семейством описанное выше подземелье. Остальные члены дурного общества жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья.

Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди дурного общества и сапожник, и корзинщик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожителю-бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно пьяного, тащили сверху в подземелье.